

Где начинается Европа

18+

Содержит
нецензурную
брань



ヒデ



Тавада
Ёко

ヨーロッパの始まるところ

hide books

Тавада Ёко

Где начинается Европа

Серия «hide books»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74186836

Где начинается Европа:

ISBN 978-5-908038-83-6

Аннотация

Тавада Ёко – японско-немецкая писательница-экзофон, лауреатка ряда престижных литературных премий и обладательница медали Гёте. В настоящее издание вошли рассказы из разных авторских сборников, впервые переведенные на русский язык. Творчество Тавады концентрируется на теме границ – языковых и географических. Где проходит рубеж Европы? Что означает «дальность» Дальнего Востока и «близость» Ближнего Востока? Автор мастерски препарирует слова, исследуя пространство языка, чтобы взглянуть на привычные и знакомые вещи под иным углом. Лирическая героиня оказывается в разных точках мира (Япония, Россия, Германия) и описывает фрагментарную реальность, где персонажи – призрак сгоревшей женщины, путешественница по Транссибирской магистрали, кукла, монах – ощущают себя чужаками.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Отражение	5
Чешуйчатка	12
Предисловие	12
1	14
2	19
3	23
4	29
5	37
6	41
7	47
8	53
9	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Ёко Тавада

Где начинается Европа

© Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, Yoko Tawada. First published in German language: 1. „Das Bad“ (1989, bilingual Japanese-German new edition 2014); 2. „Spiegelbild“ (1997), aus „Aber die Mandarinen müssen heute Abend noch geraubt werden“; 3. „Das Fremde aus der Dose“ (1996, 10. Auflage 2025) aus „Talisman“; 4. „Talisman“ (1996, 10. Auflage 2025) aus „Talisman“; 5. „Rosinenaugen“ (1997), aus „Aber die Mandarinen müssen heute Abend noch geraubt werden“; 6. „Erzähler ohne Seelen“ (1996, 10. Auflage 2025) aus „Talisman“; 7. „Zungentanz“, (2002, 7. Auflage 2024) aus „Überseezungen“; 8. Wo Europa anfängt (1991, Neuausgabe 2014) aus „Wo Europa anfängt und Ein Gast“; 9. Ein Gast (1993, Neuausgabe 2024) aus „Wo Europa anfängt & Ein Gast“; 10. „Eigentlich darf man es niemandem sagen, aber Europa gibt es nicht“ (1996, 10. Auflage 2025) aus „Talisman“; 11. Transsibirische Rosen (2016, 3. Auflage 2025) aus „akzentfrei“; 12. An der Spree (2007, 4. Auflage 2025) aus „Sprachpolizei und Spielpolyglotte“

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2026

Отражение

Жил-был монах, который увидел в пруду отражение луны и прыгнул в воду, чтобы его обнять. Пруд находился на опушке небольшого леса. На другом краю леса стоял храм. От храма к пруду вела узкая дорога. Монах вставал в пять утра, наводил порядок в храме, изучал священные писания, а после обеда работал в саду. Там он выращивал овощи и злаки, ими и питался. По вечерам продолжал изучать писания. Случалось, засиживался допоздна и засыпал за столом.

Наступила ночь полной луны. Монах уснул за чтением молитвенника. В глубоком сне он шел к пруду через лес.

Монах идет вдоль берега пруда и видит в воде луну.

Он видит ее с закрытыми глазами, потому что спит.

От видения он не пробуждается.

Пробуждение ему в видении не поможет.

Он прыгает в воду.

И?

Он захлебывается¹.

Он хлебает.

Хлебает воду. Хлебает луну.

Он хотел обнять луну. Но он ее уже выхлебал.

¹ В рассказе обыгрывается фонетическое сходство глаголов trinken (пить) и ertrinken (тонуть), которое в переводе решено передать глаголами «хлебать» и «захлебнуться». – *Здесь и далее примеч. пер.*

И захлебнулся.

Кто вы?

Я люблю читать и гуляю по ночам, когда не могу уснуть.

На прогулке всегда вижу то, о чем недавно читала.

Прочитанное виднеется в воде.

Прочитанное виднеется на небе.

Монах не сразу прыгает в воду.

Он смотрит налево, а затем направо.

Он смотрит вверх и понимает, что на небе нет луны.

Что-что?

Луна как таковая не существует. Есть лишь ее отражение в воде.

Может, ее просто не видно.

Способность видеть мало что значит.

Может, луны только сегодня нет на месте?

Она еще ни разу не была на месте.

Но почему же тогда монах видит отражение луны в воде?

Отражение вчерашнее.

Или луна вчерашняя.

Вчерашнюю луну нельзя увидеть.

Луна, которую никто не видит, вчерашняя.

Она находится в неверном² времени.

Всё, что живет в неверном времени, видится неверным.

Монах видит неверным взглядом.

Нет, это луна появляется в неверный момент.

Настоящая луна в неверный момент тоже бывает

² Автор играет со значением слова falsch, которое можно перевести как «ложный», «неправильный» и «фальшивый». Оттенки смысла в переводе переданы словом «неверный».

неверной.

Это неверная луна, которую никто не видит.

То, чего никто не видит, не может быть неверным.

Монах даже не замечает, что видит неверную луну.

Луна не знает, что ее видят как неверную.

Это всего лишь отражение.

Отражение неверным не бывает.

Это не отражение, это водяная луна.

Монах видит луну, состоящую из воды. Эта луна

жидкая, но не поверхностная.

Она поверхностная, лишь когда ее видят.

Она перестает быть поверхностной, когда к ней

прикасаются.

Рука, прикоснувшаяся к луне, становится влажной.

День спустя в газете сообщают о самоубийстве монаха. Многие в деревне удивляются, ведь монахи редко умирают подобным образом.

Монах прыгает в жидкое, чтобы это жидкое обнять.

Он не захлебывается. Он крепко держится

за водяную луну.

Его руки становятся влажными.

Для плавающего взгляда нет ничего тверже воды.

Для воды нет ничего тверже человеческого взгляда.

Монах видит воду с закрытыми глазами.

Он не плывет. Он садится на воду.

Он ложится на воду. Он не знает, где небо, а где земля.

Тот, кто может забыть небо, не тонет.

Кто вы?

Я слишком много говорю и пишу слишком мало.

Тот, кто сидит на воде, говорит много.

Вода несет все разговоры.

Тот, кто лежит на воде, больше не говорит.

Кто вы?

Я слишком часто плаваю и говорю слишком редко.

Деревенская девочка идет на пруд. Мать рассказала ей, что там умер монах. День был спокойный. Небо темнело, воздух становился прохладным. И тут налетел ветер и всколыхнул поверхность воды.

Девочка услышала шум из воды.

Что вы сейчас слышите?

Я слышу шум воды.

Шум воды всегда несет в себе свет.

Да будет свет! И стал шум.

Светло.

Сейчас вам лучше видно?

Нет, тут слишком громко. Поэтому плохо видно.

Во сне слышно лишь благодаря слуху.

Что вы видите сейчас?

Я слышу шум воды.

В ночном пейзаже моет руки монах.

Потому что руки его слишком чисты. Он смывает с них чистоту.

Он моет руки ветром.

А ветер принимает образ волны.

Волна достигает монаха, и он промокает.
Монах так и не раздевается.
Он так и не показывается обнаженным.
В облачении он сидит на воде.
Складки облачения становятся волнами.

Девочка хотела найти облачение мертвого монаха. Если мертвеца действительно нашли обнаженным, значит, его облачение лежит где-то у пруда. Спустя время стемнело. Девочка искала облачение и не нашла. В разочаровании она села и уставилась на воду. Там что-то светилося: то была книга.

Монах так и не раздевается.
Он так и не расстаётся с облачением.
Он расстаётся лишь с молитвенником.
Он кидает книгу в пруд.
И та тонет в воде.
Вода холодная.
Но книга не захлебывается. Писания могут дышать без воздуха.
Книга лежит под водой.
Монаху больше нечего читать. Теперь у него достаточно времени, чтобы захлебнуться.
Плывать может каждый. А захлебнуться способен лишь тот, кто знает, что у воды нет формы.
Захлебнуться способен лишь тот, кто знает, что у его тела нет формы.
Захлебнуться способен лишь тот, кто читает. То, что

у воды и тела нет формы, написано только в книге.

Книга лежит в воде.

Она начинает светиться, когда небо темнеет.

За пределами воды книга нечитаема.

Монах прыгает в воду, чтобы эту книгу прочесть.

И захлебывается.

Он уходит под воду и видит маленькие осколки луны.

Он видит осколки отражения.

Изображение на поверхности разбивается, когда монах прыгает в воду.

Девочка села на корточки и потянула руки к книге, чтобы ее ухватить. Мягкая земля под ногами проваливалась, и пруд был глубже, чем казалось. Девочка упала в холодную воду и захлебнулась. В ту ночь луна не появилась.

Луна видит в воде монаха, читающего молитвенник.

Луна прыгает в воду, чтобы монаха обнять.

Она разбивается.

Она рассыпается на осколки.

Ее осколки расходятся по воде.

Теперь пруд пуст.

В пустом пруду книга.

И монах, который эту книгу читает.

И луна, которая обнимает монаха.

И девочка, которая мертва.

Жили-были.

Они есть. Они здесь.

Чешуйчатка

Предисловие

Я написала эту повесть в конце 1980-х на японском, когда еще не дебютировала в Японии, поэтому она вышла в 1989 году на немецком. За два года до этого в тюрингенском konkursbuch Verlag Claudia Gehrke уже вышел мой сборник стихов на двух языках, и «Das Bad» стала второй книгой. Переводчиком выступил исследователь японской культуры, ныне профессор Мюнхенского университета Петер Пёртнер. Он работал вместе со мной.

После совместных размышлений переводчика, редактора, друзей, членов семьи и даже сотрудников типографии книга получила название «Das Bad». В переводе с немецкого это «ванная», то есть место, где можно обливаться теплой или холодной водой. Глагол baden – это не только «входить в ванну», но и «купаться». Он используется и в выражении «обливаться потом», то есть означает погружение тела в жидкость. Японское название, «Чешуйчатка» («Урокомоти»), стало личным ласковым прозвищем, поскольку оригинал так и не увидел свет.

Как-то один японский редактор решил (видимо, опираясь на английский), что das Bad означает «плохая девчонка»

и стал умолять меня дать почитать.

Шли месяцы и годы. «Das Bad» перевели на английский, итальянский и испанский, а оригинал так и оставался неизданным. Не то чтобы я его скрывала, просто ждала возможности обнародовать. Меня даже веселило, что появляются переводы неопубликованной повести. Когда было решено переиздать ее на немецком, я предложила сделать японо-немецкую билингву.

Человеческое тело на восемьдесят процентов состоит из воды, и, пожалуй, ничего удивительного, что отражение в зеркале каждое утро меняется. Кожа на лбу и щеках вела себя как болотистая грязь, заключенная между течениями грунтовых вод и человеческими следами.

Рядом с зеркалом висел мой фотопортрет в раме. День начинался с того, что я принималась искать разницу между портретом и отражением, затем устраняла ее косметикой.

В отличие от свежей кожи, на портрете лицо в зеркале выглядело блекло. Как у трупа. Не поэтому ли квадратная рамка вокруг отражения напоминала о гробе? Придвинувшись к огоньку свечи, я разглядывала мельчайшие, тоньше мушиного крыла, чешуйки, которые покрывали кожу. Осторожно подковырнув одну, я ее счистила. Запахло рыбой. Я принялась счищать чешуйки одну за другой. Расстегнув верхнюю пуговицу пижамы, я заметила, что они покрывают не только лицо, но и грудь, и руки. Так на работу не успеть. Поэтому я решила залезть в ванну, чтобы чешуя набухла и я смогла легко ее соскоблить.

Давным-давно, в бедной деревушке у подножия горы, жила-была беременная женщина, которая была так голодна, что съела сырую рыбу, не поделившись ею ни с кем из соседей. Вскоре женщина родила красивого мальчика. Потом ее ко-

жа покрылась чешуей, и она превратилась в гигантскую рыбу. На суше она больше жить не могла и поселилась в реке. А ее сына стали воспитывать деревенские старики. Другие мальчишки постоянно дразнили его, напоминая о матери. Они бросались словами, не понимая их смысла: «Твоя мамаша – шлюха!» или: «У твоей мамки нет пупка». Мальчик так и рос под градом насмешек. Особенно часто ему повторяли: «Твоя мать – чешуйчатка». Однажды мальчик спросил у старика, что такое «чешуйчатка» и куда делась его мать. Так он узнал, как появился на свет, и задумался, как бы ее вызвать. Только это его и занимало. Думал он, думал, и придумал – надо прорубить скалы и распахать для деревни заливное поле. Так жители разбогатеют. Мальчик обрадовался, пошел к реке и рассказал обо всём матери. Та тоже обрадовалась и решила помочь. Мальчик нарисовал карту и выбрал место, где можно прорубить скалы. Мать же прижалась гигантским покрытым чешуей телом к краю скалы и начала потихоньку ее долбить. День и ночь она колотилась о скалу. Ее чешуйки, перепачканные кровью, разлетались в воздухе, как лепестки сакуры. Оттого деревня, где не было ни единой сакуры, получила название Сакурамура. Когда скалы были расчищены, в деревне появилось поле и люди перестали умирать от голода, но мать, обессилев и лишившись чешуек, вся в крови, скончалась.

Когда я сняла пижаму, зазвонил телефон. Голая, я взяла трубку, но не стала отвечать. Из нее сразу же донесся незна-

комый мужской голос:

– Ты?

Я немного подумала и ответила:

– Вы ошиблись.

– Если не ты, то кто это?

Я молча повесила трубку. Таков был первый разговор этого странного дня.

Медленно опуская пальцы ног, я полезла в длинную ванну. Если не колыхать воду, то я выдерживаю даже очень высокие температуры. Затаив дыхание, я закрыла глаза и с головой погрузилась в горячую воду. Открыв глаза, я увидела, что вода колеблется, как прозрачное пламя. Пусть хоронят в воде или в земле, подумала я, а вот кремация – это противно.

Когда я поднялась из воды, чешуйки намякли. Я поскребла их пемзой, и они стали отваливаться. Очень легко отходили. Хорошо, что не надо биться о камень. И сына у меня тоже нет.

Я вернулась к зеркалу и увидела, что на носу, в тех местах, где чешуйки отпали, появились волдыри размером с муравьиные головки. При надавливании они лопались, и из них выходила белая субстанция с запахом тухловатого майонеза. Я давила их один за другим, как замороженная. Снаружи захлопали крыльями птицы. Если я не потороплюсь, то и в самом деле опоздаю на работу. Когда я расправилась с волдырями, кожа стала походить на унылую пустыню, по которой были разбросаны сморщенные воздушные шары. Отражение

неба за спиной посветлело.

Снова зазвонил телефон. Я взяла трубку и молчала, пока не послышался знакомый голос:

– Алло, это я.

– Кто это? – спросила я, хотя прекрасно знала ответ.

– Это я, – повторил голос. – Можно сегодня к тебе?

– Хорошо, но я буду поздно. У тебя есть ключи?

– Я тоже работаю и рано не успею. Ну, до встречи.

И откуда я знала, что задержусь на работе?

Я умылась белым песком. Что не сделаешь, чтобы вернуть коже гладкость. Говорят, это даже не песок, а порошок из китовой кости, который долгое время промывали морской водой, а затем сушили на солнце. Я черпала порошок горстями, натирала им щеки, и он будто говорил с моими костями через плоть. Под руками я ощущала свой череп. Под кожей из света и костями из воды возникало еще одно тело. И пока оно живо, никто не может его обнять.

Иногда мне кажется, что я вижу сквозь черепа других. Тогда я влюбляюсь в этих людей.

Нанеся на сухую кожу молочный лосьон, я заметила, что отражение в зеркале стало похожим на фотопортрет. Хотя я называю это вещество «лосьоном», на самом деле оно – не фармацевтический продукт, а настоящее материнское молоко. Оно не только увлажняет, но и дает ощущение бодрости.

Напоследок я расчесала волосы. На равнинах и полях своих снов я старательно вычесываю из волос ядовитые споры

и трупики листоедов. В детстве я никогда не причесывалась, поскольку мне казалось, что от этого голова моя пустеет. Я думаю не головой, а волосами. Учителя всегда повторяют, что надо причесываться и завязывать волосы, так как боятся детских волос. В них таится загадочная сила. Поэтому древние люди дарили амулеты из своих волос тем, кто отправлялся в дальний путь, или прикасались к волосам чужеземцев, чтобы вылечиться.

Давным-давно в одной деревне жила женщина-обжора. Она много трудилась, была доброй, и все ее любили, но она ела столько плошек риса, что ее муж сильно удивлялся. Более того, женщина настаивала, что никто не должен видеть ее, пока она ест, и принимала пищу в амбаре поздно ночью. Однажды муж тайком пробрался в амбар и увидел, что женщина превратилась в змею и поглощает плошки риса одну за другой. Он оторопел, а потом достал ружье и пристрелил ее.

Волосы – мертвая, ороговевшая кожа. Часть моего тела уже умерла.

Мой портрет, который висел рядом с зеркалом, несколько лет назад снял фотограф по имени Ксандер. Однажды он возник передо мной с тремя камерами Leica через плечо. Первая встреча фотографа и модели. Он рассказал, что снимает «политические репортажи», но, так как жить на деньги от этого невозможно, вынужден создавать проспекты для туристических путеводителей, после чего протянул мне визитку, на которой было написано его имя. Xander. Я не знала, как читается буква «X», и, поскольку имя с нее начиналось, не понимала, что ответить. А Ксандер уже присел на корточки и начал доставать камеры и аппаратуру. Перед моим взглядом всё еще витала эта «X». Потом я узнала, что его имя – сокращение от «Александр», но тогда меня терзал вопрос из школьных учебников по математике: «Найдите x ». Если X – *durch*ein, то *durchein*ander (беспорядок), если *mitein* – *mitein*ander (вместе), но наверняка были слова еще более жуткие. Когда камера уставилась на меня, я смущенно отвернулась, будто кто-то увидел мое отражение. Блеснула вспышка. От объектива осталась только черная дыра.

– Не бойся, это не ружье.

Я пыталась воспринимать камеру как дыру в стене.

– Смотри в камеру! – сказал Ксандер.

Объектив пытался зафиксировать мой взгляд. Мои глаза,

как мальки из света, испуганно бросились врассыпную.

– Покажи, что ты настоящая японка. Представь, что мы снимаем плакат для туристов.

Снова блеснула вспышка. Камера нарезала время, как кухонный ножик ветчину. Потом можно взять эти ломтики и посмотреть на них. Попробовать на вкус. Представить как алиби. И всё же зачем алиби? Я еще не знала, что окажусь замешана в убийстве.

– Не отводи глаз от камеры, – сказал Ксандер.

Я и старая Leica. Она заглядывает в мои глаза.

Камера – психоаналитик. Если она хочет вывести секреты моей души, то я останусь невозмутимой. Никаких секретов у меня нет. Но объектив хочет вывести мою кожу.

– Расслабься, – велит Ксандер.

Камера определяет расстояние до объекта и его положение.

– Улыбнись, – строго говорит Ксандер.

Я механически пытаюсь растянуть мышцы лица, но ничего не выходит. Когда влюбляешься, лицо искажается, и улыбка перестает быть естественной. Может, в этом дело.

– Почему ты делаешь столько кадров?

– Снимаю, пока не получу хороший.

– Но у тебя такая отличная камера. Разве ты не можешь снять всё с первого раза?

– Хватит болтать. Это мешает.

«Хватит болтать» мог бы сказать и стоматолог. Камера хо-

чет меня вылечить. Она стремится зафиксировать мое умирающее тело на бумаге и отдалить тем самым от смерти. Вспышка.

– Что ж, хватит.

Ксандер опускает камеру. Теперь его лицо очень похоже на мое.

Через несколько дней Ксандер зашел ко мне с камерой.

– Фотографии не получились. Тебя на них нет, – печально сказал он.

– Почему? Камера сломалась?

– С ней всё в порядке. Фон вышел просто замечательно. Но тебя на нем нет.

Некоторое время мы оба молчали.

– Вот что случается, когда ты не отдаешь себе отчет в том, что ты японка.

Я удивленно посмотрела на Ксандера.

– Ты правда считаешь, что у кожи есть цвет?

Ксандер улыбнулся.

– Конечно. Или ты думаешь, что цветом обладает только плоть?

– У плоти нет цвета. Цвет – это игра света на поверхности кожи. Сами люди бесцветны.

– Но свет играет по-разному на разной коже.

– И на разных людях, и в разные дни.

– Но у каждого свой голос...

– Голоса не существует. Это воздух, который проходит

сквозь наши тела.

Ксандер опустил голову и призадумался. Затем взглянул на меня и спросил:

– Можно тебя накрасить?

Он начал пальцами растирать пудру по моему лицу, размазывая ее толстым слоем, пока все поры не оказались забиты и кожа не перестала дышать. Кисточкой он нарисовал тени вокруг моих глаз, как археолог, который аккуратно стирает пыль с обнаруженного глиняного черепка. Потом он нанес помаду цвета моих губ там, где был мой рот.

– Я покрашу твои волосы в черный.

– Зачем красить в черный черные волосы?

– Под вспышкой они седые, как у старухи.

– Просто не ставь вспышку.

– Без нее ничего не видно.

Когда Ксандер покрасил мне волосы, он нарисовал на моей щеке «х».

– В детстве я всегда отмечал буквой «х» всё, что мне было дорого, – сказал он и поцеловал отметку.

Ксандер поставил меня перед стеной и нажал на затвор, как на курок. Знак «х» проник в мою кожу, прервал игру света и словно распял на бумаге образ японки.

На самом деле я никакая не модель. Я бедная переводчица, которая редко получает заказы, потому что у нее нет лицензии. Каждый день, накрашившись, иду в офис и жду работу. Если в течение всего дня никто не звонит, вечером возвращаюсь домой. А если звонят, выпиваю немного виски и иду на заказ.

Сегодня мне позвонили из японской компании, которая экспортирует оборудование для консервов, куда рыбу смаывают вместе с костями. Представители компании пригласили на ланч немецкого клиента и предложили мне сопровождать их. Другой переводчик внезапно заболел, поэтому они искали замену.

Ресторан находился в известном отеле с большими окнами и видом на озеро. Пять человек из каждой компании сидели по обе стороны длинного стола – они будто собирались играть в войну.

Я устроилась сбоку от японца, президента компании. Он постоянно кивал и слегка горбился. С немецкой стороны было трое мужчин и две женщины. Одна носила блузку, которая обнажала ее плечи. Другая, в узкой юбке, сидела, скрестив длинные ноги. Обе от гордости слегка выпятили подбородки, обе медленно и спокойно моргали. Только когда они опускали головы, в уголках их губ появлялись морщинки,

выдававшие усталость от работы, но тут же исчезали, когда женщины снова выдвигали подбородки.

Японцы – сплошь мужчины средних лет в пиджаках. Один, с длинным лицом, прервал молчание шепотом:

– Эти немки так сексуально одеваются даже на работу.

Все любопытствующие взгляды немцев скрестились на мне.

– Что сказал этот господин? – нетерпеливо спросил один из них.

– Ему очень нравятся старинные столовые приборы, – перевела я то, что никто не говорил.

Оказываясь в дорогих ресторанах по работе, я всегда заказываю морской язык. Он не безвкусный, в отличие от палтуса, и не такой жирный, как карп. Ничто из европейской кухни не сравнится с ним по вкусу. Но мне нравится не только вкус. Мне нравится, что он – «язык». Когда я ем его, мне кажется, что, даже если настоящий язык онемееет, морской будет говорить вместо меня.

Однако сегодня всех угощали большой рыбой, поэтому я не смогла заказать его.

Когда официант закончил разливать вино, президент завел речь. *Мина-сама хондзицу-ва мина-сама-о коко-ни сё-тай сасэтэ итадакимасита кото-о тайхэн коэй-ни омоттэ оримас*³. Я механически опустила голову и начала переводить. В конце предложения я подняла глаза и встретила

³ «Я весьма благодарен за то, что вы сегодня оказались здесь» (яп.).

с острым взглядом японца в очках в металлической оправе. Мои соотечественники не любят переводчиц и считают их проститутками, которые отдаются оккупантам. Мужчина в очках, наверное, представлял немецкий язык, который вливался в мои уши, как что-то вроде спермы. *Гууд-эн-но дэаи-то иу моно ва най-то иу котовадза-га аримасу га ватакуси-тати-но дэай-о иги ару моно-ни ситэ икун-но ва ватакуси-тати дзисин дэ аримас*⁴. Немец справа смотрел на президента круглыми, как у совы, глазами, пытаюсь продемонстрировать интерес к его словам, но постоянно переминался с ноги на ногу, так что я поняла: на самом деле ему скучно. *Корэкара-мо дзутто мина-сама-гата тото-мо ни гамбаттэ ику кото-га дэкимасу ёу, кокоро кара нэ-гаттэ оримасу сидай дэ аримас*⁵. Все чокаются бокалами с аперитивом. Самый молодой немец справа поднимает локоть и медленно опрокидывает рюмку, как актер перед зеркалом. Длиннолицый щелкает языком, приговаривая: «Хорошо идет». Женщина в узкой юбке морщится и смотрит на меня.

– Здесь надо есть тихо, – шепчет мужчина в очках.

– Угу.

– Женщинам не нравится, когда чавкают.

Президент немецкой компании смотрит на меня в ожида-

⁴ «Говорят, случайных встреч не бывает, и мы искренне верим, что наша с вами встреча неслучайна» (яп.).

⁵ «Я искренне надеюсь на успешное сотрудничество с вами» (яп.).

нии, пока я переведу.

– А что это за вино? – перевожу я то, что никто не спрашивал.

Удовлетворенный президент немецкой компании объясняет, какой это аперитив. Я перевожу на японский, и президент-японец скущающе говорит мне:

– В Токио тоже продается.

– А ты здесь одна живешь? – спрашивает он меня отеческим тоном. – Возвращайся на родину и выходи замуж, чтобы родители не волновались.

Двое поваров внесли большую рыбу на носилках, как больного в автомобиль скорой. Белое, пухлое рыбье брюхо напоминало бедро толстухи, и, наверное, поэтому, когда рыбу водрузили на стол, со всех сторон раздались смешки. Рыбу покрывали толстые сине-зеленые, полупрозрачные чешуйки. Шеф-повар ловко провел ножом от головы до хвоста, счистив их все до единой. Присутствовавшие зааплодировали. Рыбьи глаза уже были вытащены. В открытом рту не торчал язык. Повар быстро и аккуратно нарезал рыбу на одиннадцать кусков и разложил их по тарелкам. В конце осталась только безглазая голова и позвоночник. *Сорэ-дэва мина-сан вайн-дэ кампай симасё мирай-но тамэ-ни кампай*⁶. Над скелетом рыбы звенят бокалы. Все пьют за будущее.

Некоторое время все молча ели. Я слышала только чужое дыхание и царапанье металлических приборов по керамике.

⁶ «А теперь выпьем вина за будущее, за наше будущее» (яп.).

Пока все ели, мне было спокойно. Во время еды люди не разговаривают.

Вообще переводчица из меня никакая. Я ненавижу разговаривать. Особенно на родном языке.

До первого класса я всегда называла вместо «я» свое имя. В начальной школе учитель сказал, чтобы девочки говорили о себе *ватаси*, а мальчики – *боку*. Но все сначала стеснялись, называли себя по именам, либо, например, говорили *атаи*, или *боку-тян*, или *орэtti*, пока не приучились к *боку* и *ватаси*. Только я никак не могла приучиться и не хотела, чтобы кто-либо об этом знал, так что совсем перестала разговаривать с людьми. Я говорила только с матерью. И называла себя так, как она обращалась ко мне. Потом, в средней школе, где мне всё-таки пришлось разговаривать, я начала заикаться. *Ва-ва-ва-та-та-та-си*, например. Моя речь превращалась в месиво, из которого торчали буквы «а». Так я стала себя называть. Когда я заикалась, гласных было столько, что я пела. От этого делалось приятно.

Щелкают зажигалки. Кто-то, видимо, закурил. Все покраснелись от алкоголя. Челюсти расслабились, как и мысли. Рты открываются, как дыры в мусорных мешках, из них вываливался мусор. Я хватаю его ртом, проглатываю и выплевываю другие слова. Одни пахнут никотином. Другие – кондиционером для волос. Разговор оживает. Все говорят через мой рот. Их голоса заходят в мое нутро и выходят из

него. Куски рыбы в моем желудке страдают в агонии. Желудок сжимается, я начинаю заикаться. Заикаться так приятно.

– Э, э, э, э, то.

Живот сжимается, превращается в волынку, из которой доносится музыка.

– Эт, т, т, о, о хо, хо, хо, хо.

Не знаю, смеюсь я или запинаюсь, но мне хорошо. Слова разваливаются на куски и разлетаются в воздухе.

Все замечают, что со мной что-то не так, и закрывают рты в ужасе.

– Что случилось? – тихо спрашивает сидящая напротив женщина, косясь на президента.

– Простите.

Я встаю со стула и иду искать туалет. Длинный коридор ресторана ведет в отель, и вскоре я уже брожу по лабиринтам номеров. Никого нет. Одни двери, двери, двери. Наконец я вижу одну с пиктограммой женщины на ней. Я открываю дверь и сажусь на корточки, прижимаясь к батарее у окна. Зажмуриваюсь, и весы, чаши которых колеблются у меня в ушах, вдруг опрокидываются и валятся в бескрайнюю пустоту.

Вдали щелкают искры. Я хочу открыть глаза, но не понимаю, где мои веки. За капиллярами, в их стальной клетке, пытаюсь вспомнить хоть чье-нибудь лицо.

Мой рот иссох, как струп, губы слиплись. Я могла дышать только носом. Запах кипящего молока. В нем много сахара. Запах горелого сахара. Во рту скопилась слюна. Язык увлажнился, я смогла им пошевелить. Что-то мягкое и влажное коснулось губ снаружи. Морской язык. Он заполз мне в рот, играя с моим языком. Сначала нежно, потом всё грубее. Наконец он впился зубами в мой язык и проглотил его.

Вокруг всё стало ярким. Рядом сидела незнакомая женщина, вытирая мне лоб влажным полотенцем. Правая сторона ее лица была изуродована и обожжена, как твердая вулканическая лава. Левая выглядела мрачно-задумчиво. Да, это была красивая женщина за сорок, но каждый раз, моргая, я видела то юную девочку, то старуху. Она носила небесно-голубую униформу отеля. За ней на стене висел оторванный список дежурных работников. Кажется, я была в комнате для горничных. Когда холодное полотенце коснулось моей головы, вдоль спины растеклось приятное ощущение силы.

– Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше? Ты лежала на полу туалета. Что-то случилось?

Женщина пристально глядела на меня. Ее глаза были го-

лубыми, как газовое пламя.

– А, ты, видимо, не понимаешь.

Вскоре женщина сняла униформу, и начала готовиться к выходу. Я не хотела оставаться одна и попыталась попросить ее побыть со мной, но голос мне не повиновался. Когда я уселась на кровать, тело отяжелело.

– Ну что, пойдем. Тут неуютно, давай я возьму тебя с собой, – сказала женщина максимально естественно. Она уже преодолела туфли.

Мы пошли к заднему выходу отеля. Женщина встала перед стойкой, где лежали временные карточки сотрудников, но не смогла найти свою и пожала плечами. Думаю, иначе я узнала бы, как ее зовут. Но раз у нее нет карточки, она, наверное, не горничная, а просто притворялась ею.

Снаружи стемнело. Сколько времени прошло? Женщина продолжала говорить, даже несмотря на то, что я ее «не понимала».

– Некоторые не любят убирать туалеты, а я думаю, что в моей работе нет ничего веселее. Я терпеть не могу чистить лобби. У гостей дырки в задницах где ни попадая, поэтому дерьмо разлетается во все стороны. Это оттого, что они в офисах сидят целый день. Я там работала и знаю, о чем говорю.

От слова «офис» мне стало тошно. Я не хотела туда возвращаться. Ведь я ушла посреди работы.

– Что по внешности судить не надо – чистая правда. Из

важного начальника выходит не пойми что, а секретарша зазирает всё вокруг. И они такие занятые, что им даже некогда смыть за собой.

Мы остановились на светофоре, и женщина взяла меня за руку. Напротив стояли в ожидании еще несколько человек, но никто на нас не смотрел. Вообще обычно, когда на меня никто не смотрит, я всё равно ощущаю на себе чьи-то взгляды, но тут всё было иначе. Я стала прозрачной.

Женщина жила совсем недалеко от отеля. В подвале большого серого здания окна были зарешечены, как в тюрьме.

– Света нет, поэтому иди осторожнее, – сказала она, ведя меня по темной лестнице.

Дверь была не заперта. Пахло чем-то знакомым, но я не могла понять, чем именно. Женщина где-то пошарила, нашла спички и зажгла свечу. Она осветила стулья и столы в полумраке. Свет из окон сюда почти не проникал. Иногда я видела туфли прохожих. Потолок был слишком низок. В соседней комнате я заметила кровать. На столе что-то зашевелилось. Я увидела черную крысу. Она выглядела так же, как и та, которая была у меня в детстве.

– Ее зовут Мишка, – сказала женщина.

Мою тоже звали так, только по-японски, Кума. Знакомый запах оказался запахом крысы. Женщина достала несколько свечей из ящика и зажгла их. Тень моя вырастала с каждой зажженной свечой, пока множество темных и неярких теней не зашевелились под ногами, накладываясь друг на друга. Я

посмотрела на пол, но тени женщины не было.

– Что будешь пить? – спросила она, положив руку мне на плечо.

Затем она сказала:

– А, я забыла, что ты не говоришь.

И тут она впервые улыбнулась. Сначала ей казалось, что я не понимаю, теперь она решила, что я «не говорю». Кажется, я действительно онемела. Женщина налила в бокал красного вина и протянула его мне. Я никогда не видела такого густого вина. Вина цвета крови.

– Пей сама. Я сначала приму ванну.

Женщина разделась. Не только лицо, но и спину покрывали ожоги. Говорят, человек умирает, если ожогами покрыто тридцать процентов кожи, но у нее было обожжено куда больше. Грудь ее белела, как попа младенца. Женщина вынесла большой таз, встала в него и начала лить себе на плечи холодную воду из кувшина. Вода стекала в таз по ее груди и животу. С лобковых волос падали капли, и их стук о поверхность воды напоминал игру на ксилофоне. Я дрожала от холода. Женщина снова наполнила кувшин и продолжила мыться. Но это больше походило не на купание, а на сбрасывание кожи змеей. Вода мягко струилась по ее телу, как прозрачная змеиная кожа.

– Без этого я не смогу забыть плохое. Я не кричу, но замораживаю свой крик и смываю его с себя.

Как только таз наполнился, женщина, не вытираясь, наде-

ла халат прямо на голое тело. Она достала из холодильника сыр, положила его на тарелку, и тут же со всех углов комнаты сбежались крысы. Я не знала, какие из них настоящие, а какие – тени.

– Проголодались, милые?

Женщина начала нарезать сыр на кубики и передавать их крысам. Каждая хватала кусочек лапками и молча ела его. Наконец они наелись и принялись потирать краешки ртов, гладить лоснящийся мех. Затем женщина отрезала кусок хлеба и молча вручила его мне. Хлеб был сухой, как уголь. Сама она ничего не ела.

– Мне больше не нужно есть.

Я смотрела на нее, пытаясь понять, что она хочет сказать, но голова закружилась, и мне показалось, что и ее обожженное тело, и ее улыбка, и кто-то невидимый за ней – три разных человека, сидящих напротив меня.

– Я уже много месяцев ни с кем не ела. Вообще я терпеть не могу людей.

Женщина отрезала еще кусок хлеба и дала мне. Я взяла его, принялась есть, но хлеб был как пепел и не насыщал. В комнате было холодно.

– Ты тоже одна живешь? – Женщина положила руку на мою. – Жить одной не так уж и плохо. Но об этом нельзя говорить с другими людьми. Тебя убьют. Мало о чем можно рассказать. Все завидуют.

Издалека доносились неуклюжие гаммы на ксилофоне.

– Поэтому я тоже перестала разговаривать. И ушла из офиса. В офисе нельзя молчать. Я работала каждый день в отеле, и мне нравилось молчать. Но когда я молчала, в глаза мне стали бросаться самые страшные вещи. Ты тоже береги глаза.

В глазах женщины отражались огоньки свечей. Пламя мерцало в ее глазах, пока не выплыло наружу, как красные тропические рыбки, и не принялось кружиться и плясать. Я присмотрелась и увидела, что это не пламя, а настоящие серьги-рыбки.

Рыбки поблескивали, отражаясь на щеках женщины и распадаясь на блики. Вскоре одна соскользнула с ее плеча и понеслась по столу. Я воскликнула, – но это крыса украла серьгу и теперь убегала с ней в зубах.

Серьга зацепилась за свечку на столе. Та упала. Теперь из-за крыс все свечки начали падать одна за другой. Женщина не шевелилась. Комната погрузилась во мрак, словно у окна задернули невидимую штору. Я принялась шарить в поисках свечей. Ночь сгустилась еще сильнее, и за окном воцарилась мертвая тишина.

– Ты боишься темноты? – спросила женщина. – Если не боишься, оставь всё как есть.

Я уже привыкла не разговаривать, а теперь привыкала не видеть. Из-за того, что свечи потухли, стало холоднее.

– Замерзла? Хозяин отключил отопление месяц назад. Мне тепло, но, если хочешь, ложись рядом, и мы об этом по-

говорим.

Женщина молча встала, взяла меня за руку и повела в спальню. Было так темно, что я не видела очертаний предметов. Когда я легла в кровать, на меня натянули запlesenное одеяло.

Фигура женщины во мраке походила на замочную скважину. Пахло гарью. Надо было возвращаться, но тело отогрелось, и я захотела спать.

– Я думала, что, когда умру, больше не буду страдать, но, кажется, это неправда. После смерти я стала скучать по людям. Когда я жила, мне было хорошо одной.

Женщина просунула руку под одеяло и прикоснулась ко мне. Тело мое обратилось в камень.

– Закрой глаза.

Я закрыла глаза и увидела пустыню. Мое тело словно связали, я не могла пошевелиться.

– Высунь язык. Дай мне его облизать.

Кровать превратилась в сани. Черные крысы везли их по песку. На спинах у них появились крылья, и они стали летучими мышами. Сани медленно взмыли в небо. Я вдруг поняла, что это смерть, и очень испугалась. Хотелось закричать, но огромная рука закрыла мне рот.

– Не кричи. Ты же немая.

Я не могла дышать и оттолкнула женщину. Она повалилась на пол. Я села, посмотрела на нее сверху и ощутила себя здоровой и крепкой, как пятилетний мальчик.

– Я не хочу быть мертвой в одиночестве, – сказала женщина.

Лежа на полу, она захныкала. Услышав ее плач, я ощутила слабость в коленях, а глаза мои горели, будто в них воткнули огненные факелы. Я выбралась из кровати, присела и погладила женщину по спине. Она была холодная и твердая, как панцирь, но, пока я ее гладила, становилась всё мягче и теплее.

– Приходи завтра. Снова, – вскоре сказала она, глядя на меня. – Когда ты придешь, я кое-что тебе отдам.

Женщина раскрыла ладонь. На ней лежал мой язык.

Когда я вернулась домой, свет горел. Я вспомнила, что Ксандер звонил утром и обещал зайти. Комната была полна дыма.

Ксандер сидел на диване и курил.

– Который час?

Я посмотрела на часы, но стрелок не было. Я начала умываться холодной водой, смыла макияж.

– В последнее время она столько работает...

Глядя в зеркало, я широко открыла рот. На его месте зияла мрачная, темная полость. На самом деле Ксандер не фотограф. Он преподаватель немецкого. Несколько лет назад, когда я только приехала сюда, не зная языка, он стал моим первым учителем. Ксандер работал в частной языковой школе и давал уроки начинающим. В этой школе существовало правило ничего не объяснять на других языках. Студенты запоминали предложения, повторяя за учителем. Помню, как я впервые увидела Ксандера. В джинсах со стрелками и рубашке, белой как бумага, он будто оставался старшеклассником, но шея над воротничком, подбородок, щеки – всё это принадлежало утомленному жизнью мужчине средних лет.

– Это книга.

Вот первые слова, которые сказал мне Ксандер. Я повторила их, не понимая смысла.

– Это книга.

Когда мы закончили повторять такие же предложения со словами «пепельница» и «ручка», я уже влюбилась в Ксандера. По крайней мере, мне так казалось. Я быстро влюбляюсь в тех, кто учит меня словам. Когда я повторяла слова за Ксандером, мой язык становился его вещью. Ксандер курил, и я кашляла, мой язык болел от ожогов.

Ксандер давал имена вещам, как Творец. В тот день книга стала Buch, окно стало Fenster.

Второй урок прошел не так гладко. Моя радость от повторения слов быстро улетучилась.

– Ты из Японии? – спросил он меня.

Я ответила:

– Да, ты из Японии.

Я не сразу поняла, что секрет игры – в замене «ты» на «я».

Ксандер рассмеялся, и где-то будто лопнул шарик. Я не смеялась. Я повторяла все его слова, и только смех не повторяла.

В тот день мы пошли в город покупать кукол. Ксандер купил мне шелковую японскую куколку, а я – скрипача-марионетку для него. С тех пор мы общались на уроках через кукол, как чревовещатели. Куклы говорили о нас в третьем лице.

– Пойдет ли Ксандер завтра с ней на свидание? – спрашивал скрипач.

Шелковая куколка отвечала:

– Нет, не пойдет. Она не хочет.

И так далее. Вскоре я поняла значение местоимений первого и второго лица, но наши отношения с Ксандером всегда оставались в третьем.

– Где она была? Я беспокоился, – сказал скрипач, обнимая шелковую куколку.

Ксандер научился великолепно управляться с марионетками. Он орудовал ею одной рукой, глядя в сторону. В другой держал сигарету.

– Он переживал. Он думал, что-то случилось.

Скрипач тонкими, длинными пальцами начал снимать с куколki одежду, слой за слоем. Теперь лоскутки шелка цвета свежей крови взмывали в воздух и по очереди оказывались на полу. Когда был снят последний слой, от куклы осталась только голова, без тела.

Затем скрипач снял с себя смокинг, белую рубашку и брюки, под которыми не оказалось члена. Только две тонкие ноги. Как у детских игрушек.

– Разве без него не странно? Я смогу сшить его из лоскутков. Или лучше вырезать из дерева? – как-то предложила я, но Ксандер разозлился. Он не мог слушать, как легкомысленно я об этом говорю.

– Даже без этих штук мужчины и женщины разные. Мужчинами управляют нити сверху, а женщинами манипулируют со спины. Мужчины сделаны из дерева, женщины – из

шелка. Мужчины могут закрывать глаза, женщины – нет. Этого достаточно для мужчины, чтобы влюбиться.

Поэтому тело скрипача оставалось нетронутым.

– Она не онемела, правда? – взволнованно спросил скрипач. – Она не забыла слова, которым он ее учил?

Суставы скрипача шелкали, как кастаньеты. Он дрожал. Мы надолго забыли очевидное: куклы не разговаривают.

– Нам лучше лечь спать. Завтра всё будет иначе, – сказал скрипач, и Ксандер залез в кровать.

Внезапный звонок телефона буквально прорезал тьму. Может быть, звонила та женщина. Ксандер поднялся, чтобы взять телефон. Я схватила его за руку. Он снова лег.

– Может быть, у нее новый любовник? – проговорил скрипач.

Телефон прозвонил семь раз. Моя мать всегда ждала семь гудков перед тем, как бросить трубку. Может быть, она заболела. В Японии одиннадцать часов. Позвонить ей? Но как я позвоню без языка?

Услышав дыхание Ксандера, я тихо засунула палец в рот. Языка там не было.

Следующий день – воскресенье. Я проснулась оттого, что в кухне звенела посуда. Похоже, Ксандер готовил кофе.

Взглянув в зеркало, я увидела здоровую женщину, как на фотографии. Щеки розовели, как персики, а губы невольно растягивались в улыбке. Тенями я нарисовала под глазами темные круги, как от бессонницы. Затем нанесла на губы толстый слой белой пудры. Так они казались неживыми. Наконец я слегка помазала уксусом уголки глаз, и кожа съежилась, появились морщинки. Потом я оторвала фотографию и пошла на кухню, где Ксандер стоял у окна спиной ко мне.

Внутри черепа эхом отзывалось его имя, но я не могла его произнести. Я достала из холодильника молоко и начала его подогревать. Ксандер повернулся, положил руки мне на плечи, но, заметив молоко, сразу вышел. Он терпеть не может запах кипящего молока.

Скрипач и куколка уже сидели за столом, одетые в нарядные воскресные костюмы.

– Что с ней случилось вчера?

Скрипач долгое время ждал ответа, затем смирился и горько вздохнул:

– Кажется, она разучилась говорить на языке, которому он ее учил.

Я резала хлеб. Ксандер ничего не ел. Хлеб был свежий,

влажный, еще липкий. Я хотела сухого хлеба, черствого, как уголь.

– А она отведет его туда, куда вчера ходила?

Я кивнула.

Безлюдным воскресным утром мы отправились к отелю.

Я хорошо помнила дорогу туда. Мы вышли из черного хода, пересекли улицу на светофоре и свернули в узкую улочку. Утреннее солнце освещало все плиты тротуара, старые и серые стены зданий – и в них не было совсем ничего таинственного. Я уже оттуда видела окна подвала.

Стекол в этих окнах не было, только железные решетки, покрытые паутиной. Присев, я заглянула в полумрачное помещение. Кроме нескольких горелых черных предметов и обрисованного мелом человеческого силуэта – ничего. И черные, обгоревшие стены.

– Это здесь? – спросил Ксандер.

Я кивнула. С лестницы спустилась пожилая женщина. Она подозрительно нас оглядела и поинтересовалась:

– Вы что-то ищете?

Ксандер кивком указал на окно подвала и спросил:

– Что здесь случилось?

– Здесь? С месяц назад здесь сгорела женщина. Она покончила с собой. Так тут всё и осталось. Они думают, что это было убийство. А лучше бы прибрались поскорее. Иначе крыс станет только больше, и бездомные разведут притон. Вчера ночью я слышала голоса, перепугалась. Я живу прямо

сверху.

– А что за женщина-то?

– Ей было лет сорок пять. Она жила одна, тихо, мы так, здоровались только. Вроде в отеле работала. Какое тут убийство?!

– Почему вы так думаете?

– Ну, кому надо ее убивать, верно?

– То есть она покончила с собой?

– Ну, одна жила, ей, наверное, было одиноко.

– А может, несчастный случай? Может, она курила и подпалила случайно волосы сигаретой.

– Не знаю. Да и женщине одной жить нехорошо.

– Она умерла с месяц назад?

– Да, примерно так.

По пути домой я не очень хорошо видела, поэтому протерла глаза и поняла, что они мокры от слез. Я попыталась разглядеть свое отражение в витрине. Глаза покраснели и опухли, а лицо выглядело как сад после тайфуна.

Когда Ксандер заснул, я одна пошла в тот серый подвал. Ночь была туманная. Вдали кто-то опять неуклюже разыгрывал гаммы на ксилофоне. От них я рефлексивно помчалась вперед.

В окне подвала горел тусклый свет. Я понеслась по неосвещенной лестнице и постучалась в дверь. Она тихо открылась, и из проема беззвучно вышла женщина. Она обня-

ла меня – а я тяжело дышала, моя грудь ходила туда-сюда.

– Заходи. Без тебя мне было бы так одиноко.

Ничего в комнате не изменилось с прошлой ночи, и всё, что я видела утром, представало сном. На столе одиноко горела свеча. Женщина налила мне бокал красного вина. Оно пахло кровью. Она отрезала кусок хлеба. Он был всё так же сух, на вкус как уголь. Но сегодня мне понравился этот вкус. Несколько черных крыс выползли, привлеченные крошками.

– Туман такой густой. Город будто превратился в джунгли, – сказала женщина и погладила меня по руке.

В тех местах, которых она касалась, стали вырастать блестящие чешуйки. Они поблескивали зеленым и красным. Даже когда женщина задула свечку, они блестели.

– Слушай. Я говорю с тобой, потому что никто, кроме тебя, не может понять мою речь.

Дыхание женщины на моей щеке было стылым, как ночной ветер.

– Сначала все будут хвалить твои чешуйки, завидовать им, и тебе от этого станет очень радостно. Но однажды кто-то скажет, что хочет тебя убить. Все вдруг начнут тебя ненавидеть. От испуга и ужаса твой позвоночник станет мягким. Он больше не сможет держать голову, и та поникнет. Но тогда будет слишком поздно. Все станут бросать камни в твою голову, а они будут гулко отлетать от нее и стучать, как «деревянная рыба», и не успеешь ты заметить, как под этот стук будут петь сутры на твоих похоронах.

Женщина обхватила ладонями мое лицо. Вдали защелкали искры, и у меня начали расти чешуйки. Грубые и холодные на ощупь.

Она засунула костлявые пальцы мне в волосы. Захлопали крыльями летучие мыши, голова моя поникла. Я почувствовала сонливость.

– Хочешь спать? Ложись рядом, поспи немного.

Вдруг хлопнула деревянная дверь. Залаяла собака. Передо мной выскочили две высокие фигуры. Меня толкнули, я упала на пол и захлебнулась в беззвучном крике.

– Что ты тут делаешь?

Чей-то мужской голос. Вдруг стало ярко. Я лежала посреди обгорелой пустой комнаты. Овчарка почуяла винный дух из моего рта и, скалясь, зарычала. За ней стояли мужчины в униформе. Мебели не было. И женщины тоже.

– Документы? – сказал полицейский. У него была кустистая борода. Я встала. Вся моя одежда перепачкалась в саже.

– Имя?

Я начала отряхиваться.

– Как тебя зовут? – проговорил бородатый.

– Кажется, она не понимает, – сказал другой, высокий.

– Да она больная и еле живая.

– Беженка, что ли?

– Наверное, она никак с этим делом не связана. Пойдем. – Бородатый аккуратно трижды похлопал меня по спине. – А ты иди домой. Иначе тебя продадут, – раздельно прокричал

он.

Высокий рассмеялся – звучно, как сирена.

– Начинаем с этого угла.

Бородатый где-то успел привести в порядок бороду и переоделся в пиджак. Я подняла тяжелый свинцовый молот и со всей силы обрушила его на пол там, куда он указывал. Крысы бросились врассыпную. Некоторые замешкались и оказались под ударом, их внутренности разлетелись во все стороны. Высокий что-то записал в блокнот. Бородатый показал на другое место. Я снова подняла молот и ударила им. Послышался треск крысиных позвонков.

– Чуть аккуратнее.

Я вытерла потные ладони платком.

– Загляни-ка в буфет, – нежно сказал бородатый.

Я открыла двери и увидела стаю крыс, которые, дрожа, прижимались друг к другу. Я подняла молот, и крысы выбежали. Удар попал на них. Последняя крыса громко заверещала. Мои глаза застило соленым потом. Я потерла их, пытаясь понять, куда указывает мужчина.

– Быстрее.

Я подняла молот и зашаталась под его весом.

– Бей сильнее.

Я целилась и била так, будто ставила штампы. Крыс становилось всё меньше и меньше. Высокий записывал что-то в блокнот.

– И здесь, – сказал бородатый, указывая подбородком.

Перед дверью сгрудились крысы. Они грызли дверь, жажда сбежать. Из последних сил я подняла молот. Его ручка была влажной. Перед тем, как молот ударил по полу, одна из крыс обернулась. У нее оказалось знакомое лицо – той женщины, которая подожгла себя.

Когда я проснулась, ладони и волосы промокли от пота. От волос шел странный запах, как после долгого путешествия, и, хотя я подумала, что надо его смыть, залезать в ванную, похожую на гроб, не хотелось, поэтому я намочила волосы в раковине. Я наполнила ее водой, окунула волосы, стала полоскать. Из них вымывались мертвые листья, оторванные крылья бабочек, дохлые муравьи и сушеный хвост ящерицы.

Стоя перед зеркалом, я не знала, на кого смотрю – на себя или на ту женщину. Я повернула зеркало к стенке и решила не краситься.

Я нагрела молока и села, накрыв колени одеялом, как больная, потом открыла газету и начала читать объявления. После случившегося я решила, что заказов на перевод ждать больше не стоит и надо искать новую работу. Визу мне дали при условии, что я не буду запрашивать пособие по безработице, поэтому я не могла пойти на биржу труда.

«Требуется чешуйчатки». Объявление от местного цирка. Потрясающая возможность для меня. Я погладила ще-

ку, ощущая под кончиками пальцев твердые и жесткие чешуйки, затем надела тонкую шелковую блузку без рукавов и мини-юбку, чтобы продемонстрировать всю чешую, которая покрывала мое тело.

Труппа расположилась в семи палатках на пустыре где-то на окраине города. Несмотря на полдень, все почти спали: было тихо. Над входом в палатки висели таблички с названиями: «Бухгалтерия» или «Дикие животные». Я изучала их одну за другой, пока не нашла палатку с табличкой «Отдел кадров».

Внутри сидел мужчина в галстуке, с острым взглядом.

Я хотела сказать ему, что пришла по объявлению в газете, но вспомнила: у меня же нет языка. Он ухмыльнулся.

– Ты чешуйчатка? Не думал, что мы быстро такую найдем.

Потом он продолжил.

– У нас беда. Вчера ночью русалка умерла от рака груди.

Кажется, я ему понравилась.

– Вообще трогать грудь русалки лишний раз не стоит. А мой друг-поэт каждый день пил ее молоко, и вот она умерла.

Мужчина поднялся.

– Давай я покажу тебе нашу выставку уродов.

Я вспомнила одиноких змей и саламандр, которых показывали на таких выставках в моем детстве. В этом городе тоже существовали подобные одинокие места.

В палатке было темно, и я ничего не могла разглядеть. Иногда что-то шелестело, как трава. Мужчина включил свет,

и я увидела с десятков женщин в мини-юбках: они сидели за столами, перелистывая документы. При виде мужчины они хором закричали: «Доброе утро». Все сплошь красивые, словно со страниц модных журналов, а их губы и щеки были такими красными, словно их только что отхлестали.

– Вот наша гордость – выставка уродов.

Тут не было ни саламандр, ни змей, но, кажется, он сказал правду. Я не знала, зачем им, в этом офисе, чешуйчатка. Женщины смотрели на меня, улыбались, но молчали.

Наконец мужчина вышел, и женщины принялись молча бить друг друга. Почему-то меня не трогали. В стене было много дырочек. Может быть, через них смотрели. Когда одна из женщин свалилась на пол и умерла, остальные набросились на нее и нарядили в свадебное платье. Затем то же случилось со следующей, пока весь пол не оказался усеян женщинами в свадебных платьях. Я в ужасе влезла на столб и села на трапецию.

– Спускайся! – кричали мне пьяные голоса.

Точно, за нами наблюдали.

– Трусиха, куда ты бежишь от своего будущего? Слезай!

Веревка на трапеции порвалась, я свалилась вниз головой и потеряла сознание.

Очнувшись, я обнаружила, что лежу на рыбном подносе среди шумной свадьбы. Все невесты увоились и смывали макияж, а женихи выглядели утомленно. Одна из невест встала, подняла бокал и объявила:

– Корэкара ва, дзибун-но кокоро-ни сёдзики-ни икитэ ику
цумори дэс!⁷

– Сёдзики-ни!⁸ – повторили женщины.

– Кусай моно ва кусай тоиоо! Урокомоти ва кусай!⁹

Изнуренные женихи сидели в креслах, ждали, пока всё закончится.

– Хосий моно ва хосий то иоо! Канэ-га хосий!¹⁰ – завопили женщины.

Звенели стаканы.

«За свободу!»

Подошел повар с большим ножом. Он поклонился, все зааплодировали. Он приставил нож к моей спине и срезал чешуйки. Они разлетелись в воздухе, как лепестки сакуры, и моя кожа запылала. Раздался громкий рокот аплодисментов. Я проснулась, лежа на животе и поджав под себя онемелые, застылые руки со скрюченными пальцами. Каждый раз после сна я ощущала спокойствие. Нет работы тяжелее, чем спать.

Зеркало было повернуто к стене, поэтому я не могла накрашиваться. Я вскипятила молоко, села на стул и развернула газету. На третьей полосе поместили фотографию женщины. На ней не было ожогов. Наверное, фотограф отретушировал портрет, потому что она выглядела на редкость несчастной,

⁷ «Отныне мы будем вести честную жизнь!» (яп.)

⁸ «Честную!» (яп.)

⁹ «Вонючие белые рыбки! Чешуйчатки!» (яп.)

¹⁰ «Скажем, чего мы хотим! Денег!» (яп.)

даже уродливой. В газете писали, что сначала расследовали убийство, но потом решили переквалифицировать дело как самоубийство и закрыть. Видимо, лица самоубийц ретушируют, чтобы они выглядели уродливыми.

Зеркало, которое теперь было повернуто к стене, подарила мне на прощание мать.

Месяц назад я впервые за долгое время приехала в Японию. Мать не стала встречать меня в аэропорту. Она всё говорила, что шум самолетов напоминает ей о мартовской бомбежке Токио, и поэтому она не хочет туда ехать. Тогда погибли все ее родственники, и она осталась сиротой.

Возвращение вышло странное. После долгого полета я наконец приехала на родину и, не веря происходящему, постучала в дверь, но ответа не было. Я тихо ее открыла. Она была не заперта. Внутри царил мрак. Я включила свет и сдвинула ширму *фусума*. В комнатке стояло странное устройство, похожее на гибрид ткацкого станка и велосипеда. За ним лежала на футоне мать. Она медленно приподнялась и посмотрела в пространство, как слепая.

– Мам, это я.

Я очень давно не говорила по-японски. И в слове «мам» (*окаасан*) я будто столкнулась с собой из прошлого, а затем, повторяя «я» (*ватаси*), почувствовала, что перевожу саму себя. Мать посмотрела на меня, но выражение ее лица не изменилось. Как будто она не понимала, кто я. Затем она медленно поднялась и сказала:

– А, ты.

Из ее глаз выкатились две слезы, крупные, размером со стеклянные шарики. Но лицо оставалось неподвижным. В памяти промелькнула сцена из западного фильма: мать и дочь обнимаются после долгой разлуки.

Лицо матери, покрытое чешуйками, сияло от радости.

– Выглядишь свежо, помолодела, – проговорила я.

Мать указала на странное устройство и произнесла:

– Я упражняюсь на нем каждый день.

Затем она согнула руку, чтобы продемонстрировать мускулы.

– Смотри, какие у меня мускулы, но в горле *глобус истерикус*, поэтому я еле дышу.

Я не знала, что такое *глобус истерикус*, но не стала уточнять.

– Почему у тебя такие тонкие волосы? – спросила она, и я в тревоге потрогала их. – И почему они порыжели?

– Это из-за света.

– Они выцвели?

– Нет, тут свет другой, и они выглядят иначе.

– Понятно.

Мать грустно посмотрела на мои волосы.

– Что это такое? – спросила я.

– Это тренажер для бодибилдинга.

– Зачем ты его купила?

– Мне больше нечего делать. Кроме того, если я заболēju, это помешает твоей карьере, так что я решила заняться те-

лом.

– Но ты же здорова.

– Совсем нет. Я вычитала в журнале, что развитие мышц снижает уровень женских гормонов и помогает избавиться от депрессии, но это неправда. Из-за *глобуса истерика* я не могу дышать. И, кажется, без тебя я скоро совсем забуду, как разговаривать.

Я ощутила короткий взгляд матери на себе.

– Почему ты выглядишь как азиатка?

– Ты о чем, мама? Я и есть азиатка.

– Это не так. Ты теперь как те японцы, которых показывают в американских фильмах? Такая же экзотичная.

Я осмотрела комнату. Зеркал не было. Наверное, поэтому мама не заметила моих чешуек.

– А что сейчас в моей комнате?

Но вместо ответа мать задала другой вопрос:

– Почему ты не подстрижешься?

Я промолчала.

– Почему бы тебе не сделать причёску покороче? Говорят, бог смерти может утянуть за длинные волосы.

Я хотела снова заглянуть в свою комнату.

Когда я открыла дверь в бывшую детскую, в нос ударил запах плесени. Окон не было. На полу валялись вывороченные наизнанку мягкие игрушки, как трупы на поле битвы. У стены громоздились деревянные коробки. В них лежали подгузники. А под ними – слюнявчики. Всё покрывала пле-

сень.

– Что это?

– Твоя детская одежда.

– Почему ты ее не выкинула? На них же чешуя... то есть плесень.

Мать никогда ничего не выбрасывала. Она постоянно повторяла, что те, кто вырос в годы войны, не могут ничего выбросить просто так.

Она взяла слюнявчик и нежно его погладила.

– Я тебя так и не отлучила от груди. Даже когда тебе было пять, при гостях ты плакала и хотела молока. Я не знала, куда деваться.

Но я не помнила материнскую грудь. Я задумалась, когда в последний раз дотрагивалась до ее тела.

– Я пошла к доктору за советом, но он рассмеялся и сказал: «Девочки грудное молоко не любят», – а ты, негодница, бросила в него ведро, в котором было множество фарфоровых игрушек. Доктор страшно разозлился от боли и, как царь ада, Эмма, завопил: «Да я язык тебе оторву!».

Я этого совершенно не помнила.

В углу стояла ржавая птичья клетка. Внутри были разбросаны белые косточки – кажется, крысы, которая умерла десять лет назад.

– Это останки Кумы. Помнишь ее? – радостно сказала мать.

– Выброси их, пожалуйста.

– А что, если она вернется?

– Кто вернется? Я сюда больше не вернусь.

– Моя дочь вернется. Она станет успешной и приедет домой.

– Я всё равно не вернусь. А даже если вернусь, это буду не я.

– Кто ты?

– Ты о чем? Это же «я».

– Откуда у тебя эта привычка – постоянно повторять «я», «я», «я»...

Мать вдруг присела на корточки и заплакала.

– Но как мне еще себя называть?

– Кто тебя этому научил?

Она рыдала. Ее плач звучал как сломанная флейта.

– Мам, почему тебе не перестать думать о прошлом и подумать о будущем?

– Будущее – это когда?

– Если будешь плакать, у тебя чешуйки вырастут.

– Теперь я только жду смерти. У тебя есть работа, друзья, а я от всего этого отказалась, чтобы вырастить тебя.

Мать сжалась и выглядела так, будто скоро утонет в одежде.

– Мам, у меня больше нет работы.

– Но ты всегда так подробно пишешь о том, как работаешь, разве нет?

– Я всё выдумываю. У меня нет никакой карьеры, и я еле

свожу концы с концами.

– Тебе не нужна карьера. Почему ты живешь там? Возвращайся сюда, не живи там больше.

Влетела муха. Мама прицелилась мухобойкой и впечатала насекомое в стену насмерть. Она не любит всё, что летает, – ни самолетов, ни мух.

– О, пора тренироваться, – сказала мама, взглянув на часы.

У часов не было стрелок. Мать села на тренажер, который напоминал одновременно ткацкий станок и велосипед, и начала крутить педали. Педали приводили в движение цепь, вращающую зубчатое колесо, которое в свою очередь вращало следующее колесо и так далее, и при этом играла музыка, как в музыкальной шкатулке. Странно, что у звуков не было ни тона, ни продолжительности: они будто возникали откуда-то, как пустынный смерч, окружали меня и затягивали внутрь. Мне стало дурно, и вдруг затошнило, как на веселой карусели. Я попробовала вызвать рвоту, но изо рта вырывался только смех. Так весело, что невозможно остановиться. С каждым поворотом я становилась моложе на год. Я не понимала, где нахожусь, что передо мной, а что позади. Ноги подломились, и я больше не могла стоять. Губы и анус раскалились. Я услышала громкий детский плач. Плач умирающего младенца, которого поглощала материнская вагина. Мой плач. Меня засасывало в темный глаз вихря, я исчезала. Собрав последние силы, я принялась ругать мать. *Урокомо-*

*ти нанка синдэ симаэ!*¹¹

И тут я превратилась в чешуйчатку и провалилась в самый темный центр вихря, в свою вагину.

¹¹ «Сдохни, чешуйчатка!» (яп.)

На самом деле я не переводчица. Иногда я притворялась ею, но в действительности я обычная машинистка. Теперь, потеряв язык, я больше не могу притворяться даже переводчицей. Единственная моя работа – печатать непонятные слова на бумаге. После шести часов за машинкой на спине будто вырастает черепаший панцирь. К вечеру я не могу повернуть голову, а к ночи пальцы застывают. Но всё же я продолжаю печатать на своей дешевой ручной машинке. С каждым нажатием клавиши рычажки взмывают, как руки утопающего. К полуночи я уже ничего не вижу. Но упорно продолжаю печатать. В последнее время машинисток, которые могут превращать голоса мертвых в слова, резко стало меньше, поэтому от работы у меня нет отбоя. Конечно, времени на сон тоже не остается. Иногда я роняю голову на машинку и сплю. А просыпаясь, продолжаю печатать.

Теперь можно сказать, что я одолжила свой язык и свою жизнь этой женщине. Каждый вечер я прислушиваюсь к ее голосу и записываю ее слова. Поэтому я больше не понимаю, что говорит Ксандер. Я даже не помню, понимала ли я его раньше или нет.

Ксандер на самом деле не преподаватель немецкого, а плотник. Он делает для меня разные вещицы из дерева. Кресло и стол, от которых я не могу отойти, тоже сделал

Ксандер. Он прибил мои пятки к основанию кресла толстыми гвоздями, чтобы я не свалилась, когда засыпаю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.